

Карина Демина



Хозяйка Серых земель. Люди и нелюди



Женщина создана сделать мужчину счастливым,
где бы этот несчастный ни прятался!

Хельмова дюжина красавиц

Карина Демина

**Хозяйка Серых земель.
Люди и нелюди**

«АЛЬФА-КНИГА»

2015

УДК 82-312.9(02)
ББК 84(2Рос=Рус)6-445я5

Демина К.

Хозяйка Серых земель. Люди и нелюди / К. Демина — «АЛЬФА-КНИГА», 2015 — (Хельмова дюжина красавиц)

От хорошей жены и на каторге не скроешься. Вот и Евдокия собралась за исчезнувшим супругом в самое сердце Серых земель. Ведь всего-то надобно, что отыскать таинственную их Хозяйку да по-женски поинтересоваться, за какой такой надобностью она чужих мужей сманивает? Пусть возвращает Лихослава! А чтоб в пути Евдокия не потерялась, да и сопровождения ради, отправится с нею и родственник разлюбезный, старший актер познаньской полиции Себастьян Вевельский. С ним-то да с верным револьвером не страшны будут ни упыри, ни вурдалаки, ни иная нежить, каковой славятся проклятые сии места.

УДК 82-312.9(02)
ББК 84(2Рос=Рус)6-445я5

© Демина К., 2015
© АЛЬФА-КНИГА, 2015

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	12
Глава 3	22
Глава 4	30
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Карина Демина

Хозяйка Серых земель. Люди и нелюди

Глава 1

Дорожная

Хорошо там, где меня нет, но ничего, я и туда доберусь...
Высказывание, сделанное Себастьяном, ненаследным князем
Вевельским, в минуту задумчивости

Грохотали колеса. Глухо, ритмично, и звук этот, к каковому Евдокия, по здравом размышлении, должна была бы привыкнуть за трое суток пути, раздражал неимоверно. Пожалуй, сильнее этого грохота – а порой Евдокии казалось, будто бы щелястый вагон, в котором не то что людей, скот перевозить стыдно, вот-вот рассыплется, – раздражал ее тоненький голос панны Зузинской, а заодно уж и рукоделие ее. Рукодельницею же панна Зузинская, по собственным словам, была отменною, а потому не в силах были помешать творческим ее порывам ни скрежет, ни тряска, ни уж тем паче такая вовсе досадная мелочь, как неудовольствие попутчиков.

Панна Зузинская, ловко перебирая пухлыми пальчиками, вывязывала шаль. Спицами.

И спицы эти, вида весьма благолепного, подобающего даме почтенного возраста и рода занятий – а была панна Зузинская не кем иным, как свахою, – завораживали взгляд Евдокии. Хищно поблескивала сталь, и вот уже мерещилось, что будто бы не нитки она связывает, но паутину плетет.

– А вот, милочка, в Саповецкой волости, вы небось не слышали, так там отродясь водится, что невестушку в новом доме встречают руганью. – Панна Зузинская потянула ниточку, и клубок, на ее коленях лежавший смиренхонько, подпрыгнул.

И сама панна подпрыгнула, наклонилась, отчего пухленькие губки ее сжались куриной гузкой, а на личике мелькнуло выражение крайне неодобрительное, правда, для Евдокии так и осталось загадкой, что же панна Зузинская, которую на вторые сутки пути было милостиво дозволено величать Агафьей Прокофьевной, не одобряла: вагон ли, сам поезд или же те слова, что против воли сорвались с языка.

– Не поминайте Хельма, милочка, а то ведь явится. – Панна Зузинская прижала корзинку локотком, а вот Евдокии за ридикулем пришлось наклоняться. И собирать рассыпавшиеся по грязному полу что стальные перья, что платки, что иные дамские мелочи, которые чем дальше, тем более бессмысленными ей представлялись.

– Так вот, собирается вся родня, что свекор со свекровью, что мужнины братовья со снохами... что иные... и каждый начинает новую невестку хулить, иные и плюются под ноги...

...Евдокия стиснула в руке перо, пытаясь справиться со злостью: судя по всему, плевались не только в Саповецкой волости.

Вагон был грязен.

Там, в Познаньске, это путешествие ей представлялось совершенно иным, и пусть бы дорожные чемоданы из крокодильей шкуры остались в чулане, но...

...не так же!

Тот самый третий вагон, в котором им надобно было ехать, еще на Познаньском вокзале поразил Евдокию какой-то невероятной запущенностью. Был он темен, не то грязен, не то закопчен, некогда выкрашен в темно-зеленый колер, но ныне краска слущилась, осталась пят-

нами, отчего вагон гляделся еще и лишайным. По грязным стеклам его змеились трещины, а проводник, которому вменялось проверять билеты, спал под лесенкою. Еще и калачиком свернулся, тулуп накинул для тепла, стервец этакий.

– Спокойно, Дуся, – велел Себастьян, уже не Себастьян, но бравый пан Сигизмундус, студент Королевского университета. И картуз свой поправил.

Надо сказать, что к этому обличью, донельзя нелепому, вызывающему какой-то непроизвольный смех, Евдокия привыкала долго. Она не знала, существовал ли где-то оный пан Сигизмундус на самом деле и сколь многое взял от него Себастьян, но на всякий случай от души сочувствовала этому человеку.

Несообразно высокий, был он худ и нескладен. Крупная голова его, казалось, с превеликим трудом удерживалась на тощей шее, окутанной красно-желтым шарфом, каковой пан Сигизмундус носил и в червеньскую жару, утверждая, будто бы сквозняков бережется. Края шарфа были изрядно обтрепаны, как и кургузый пиджачишко с квадратными посеребренными пуговицами. Штаны пан Сигизмундус носил на лямках, не доверяя этакой новомодной штуkenции, как подтяжки. Ботинки его, размера этак восьмого, но узконосые, блестящие, были украшены шпорами и при каждом шаге, а шаги у пана Сигизмундуса были огромные – Евдокия с трудом за ним поспевала, грозно позвякивали.

Еще пан Сигизмундус страдал вечными простудами, был зануден и склонен к нравоучениям.

– Мы и вправду отправимся...

– Дорогая кузина. – Пан Сигизмундус вытащил из оттопыренного кармана очки вида пречудовищного – с синими блескучими стеклами и серебряными дужками. Оные очки он кое-как пристроил на покрасневшем носу, шмыгнул им, высморкался и со всем возможным пафосом продолжил: – Дорогая кузина, умоляю вас преодолеть в себе предосудительность и внять голосу разума...

Разум как раз утверждал, что ехать в этом вагоне – чистое самоубийство.

Доски гнилые. И отходят. И наверняка внутри сквозит нещадно, не говоря уже о том, что это сооружение, по недомыслию прицепленное к составу, вовсе, быть может, не способно с места стронуться.

– Хотя, конечно, – смешался было пан Сигизмундус, в очках которого мир сделался смутен и мрачен, – я не вправе требовать от женщин разума.

– Что?

– Да будет вам известно, дорогая кузина, что в прошлом номере «Медицинского вестника» увидела свет презанятнейшая статья профессора Собакевича...

И статья, и профессор, и сам журнал Евдокию волновали мало.

– ...он утверждает, что женский мозг много легче мужского, а также извилины его упрощены, ввиду чего несомненно, что женский разум также более примитивен, не способен к мышлению абстрактному, а также...

– Стоп. – Евдокия поставила саквояж.

Пана Сигизмундуса хотелось ударить.

– Какое отношение это имеет к вагону?

Ее провожатый смутился, но ненадолго.

– Очевидно, что в скудоумии своем, дорогая кузина, прошу не обижаться на меня, ибо желаю я говорить вам исключительно правду, как велит мне то мой родственный долг опекуна и единственного вашего родственника...

...говорил он громко, пожалуй, чересчур громко, и от голоса его женщина, что дремала на лавочке, встрепенулась. Она поправила кружевную свою шляпку из белой соломки, сняла пуховую шаль, которую скатала валиком и уложила в кружевную же корзинку, правда чересчур крупную, чтобы быть изящною.

– ...вы не способны осознать несомненных преимуществ нашего с вами вояжа...

– Это каких же?

Евдокия повернулась к женщине спиной.

Она ощущала колючий холодный взгляд ее, который был Евдокии неприятен, как и сама она, чистенькая, благодушно-розовая, неуместная на этом грязном перроне.

– Во-первых, – тощий палец пана Сигизмундуса вознесся к небесам, – несомненная экономия. Билет обошелся всего-то в пять медней...

Евдокия и одного не дала бы.

– ...тогда как за второй класс просили уже два сребня, не говоря уже о первом. – Эти слова пан Сигизмундус произнес с немалым раздражением, так, что стало очевидно, сколь глубоко презирает он всех тех, кто выбрасывает деньги за путешествие в первом классе. – Меж тем, логически размышляя, все пассажиры проделают одинаковый путь что по времени, что по расстоянию. Так к чему платить больше?

Евдокия открыла было рот, чтобы рассказать о такой немаловажной вещи, как комфорт, но ей не дозволено было произнести ни слова.

– Если же ты печешься об удобствах, – сказано было сие так, что Евдокия мигом устыдилась, – то я, дорогая кузина, способен обеспечить их. Я взял одеяло. Два.

Два пальца упирались в небеса.

– И флягу с горячим чаем. Бульон. Четыре куриных ножки. Яиц вареных... – Перечисление всего, что пан Сигизмундус счел нужным взять с собой – а судя по количеству чемоданов, список был немаленьким, – грозило затянуться надолго.

– Там дует! – Евдокия обернулась к женщине, которая подошла совсем уж близко, пожалуй, неприлично близко. – Скажите вы ему, что там дует!

– Ах, милочка, – женщина ответила очаровательнейшей улыбкой, столь сладкой, что оною улыбкой можно было глазуровать пряники, – вы уж не обижайтесь, но я так скажу: ваш родич прав. К чему платить больше? Поверьте моему опыту, в вагонах второго класса сквозит ничуть не меньше.

Зато выглядят эти вагоны куда приличней.

– Вот! – Пан Сигизмундус одарил новую знакомую благосклонным кивком.

– И чай там подают дурной. Не чай – название одно, а постельное белье и вовсе не свежее. – Она подхватила Евдокию под локоток. – К тому же никогда не могла я спать на этом постельном белье. Только и представляю, кто на нем до меня лежал...

– Лучше спать вовсе без белья?

Женщина рассмеялась журчащим смехом.

– Вы путница... нет, я вот вожу с собой простыночку... и пуховую шаль. Она места занимает меньше, а греет лучше всякого одеяла... к слову, позвольте представиться – панна Зузинская.

Она протянула Сигизмундусу ручку, которую тот принял осторожно, брезгливо даже, сдавив полненькие, унизанные кольцами пальчики.

– Сигизмундус, – представился он, разглядывая что перстеньки, что саму панну, такую всецело благолепную, как сахарная фигурка со свадебного торта. – Студент. А это кузина моя. Дульсиня. Но на Дусю тоже отзывается.

Желание огреть дорогого кузена саквояжем сделалось вовсе нестерпимым.

– А позволено ли будет узнать, куда вы направляетесь? – Панна Зузинская не спешила выпустить Евдокиин локоть, отчего та чувствовала себя добычей.

– Сначала до Журьиной пади, а там и дальше в Серые земли, – говоря это, Сигизмундус приосанился и шарф свой оправил.

– В Серые земли?! – охнула панна Зузинская с фальшивым удивлением. – И панночка?

– Я не могу оставить сестру без присмотра!

– А вы...

– Меня зовет наука! – Сигизмундус ударил в грудь кулаком. – Я в долгу перед нею!

– Неужели? – пробормотала Евдокия, о которой, казалось, забыли. – А мне, дорогой кузен, казалось, что вы в долгу не только перед наукой...

– Пустое, – отмахнулся Сигизмундус и, склонившись к новой знакомой, прошептал: – Эти люди ничего не смыслят в науке. Они думают, будто бы миром правят злотни, а на деле...

Драматичная пауза повисла над перроном, и от этакой нехарактерной для вокзала тишины очнулся проводник, сел, ударившись затылком о ступеньку, и выматерился, к слову, довольно-таки затейливо, с фантазией.

– Что на деле? – шепотом поинтересовалась панна Зузинская.

– Все дело в знаниях. Вот увидите. Я найду ее...

– Кого?

– Бержмовецкую выжлю!

– Кого?!

– Бержмовецкую выжлю! – с придыханием произнес Сигизмундус. – Я докажу, что она существует, и стану знаменит! Я войду в историю! Мое имя будет во всех учебниках...

– Очень за вас рада, – пролепетала панна Зузинская, выпуская Евдокиин локоть.

– Спасибо! – Сигизмундус отвесил поклон, несколько резковатый, верно, оттого панна Зузинская и отшатнулась. – Вы еще услышите обо мне! О Сигизмундусе Бескомпромиссном!

– Это ваша фамилия?

– Нет. – Евдокия не упустила случая отомстить. – Его фамилия Бескаравайчик...

– Наша, дорогая кузина... наша... но согласитесь, что Сигизмундус Бескомпромиссный звучит куда как солидней.

Кузина соглашаться не спешила, но оскорбленно замолчала, надулась, сделавшись похожей на фарфоровую куклу дешевой работы, этакую щекастую, с намалеванным румянцем и глупыми голубыми глазищами.

Впрочем, обманываться Себастьян не спешил.

Выражение оных глазищ, ежели приглядеться, не обещало ничего хорошего.

– Дорогой кузен, – ручка Евдокии стиснула Себастьяновы пальцы с неженскою силой, – надеюсь, вы знаете, что делаете.

Хотел бы Себастьян ответить, что, естественно, знает, однако же сомнения его не отпускали.

Третий вагон.

Грязный не только обыкновенной грязью, что скапливается везде, где обретаются люди, но и той, незримой, от которой вся его натура заходилась немым криком.

Натуру пришлось заткнуть.

Проводник билеты принял, проверил что на свет, что на зуб, после смерил Себастьяна на редкость неприязненным взглядом, для которого не имелось ни единой причины.

– За багаж – пять медней, – сказал он и руку протянул.

Красную, будто бы вареную.

– Помилуйте! – Себастьяну пяти медней было не жаль, однако пан Сигизмундус, будучи по натуре существом хоть и возвышенным, всецело отданным науке, но не чуждым практичности, коия появлялась приливами, не способен был добровольно и без спора расстаться с этакою суммой.

– Пять медней! – повторил проводник чуть громче и пнул холщовую желто-лиловую сумку, приобретенную Себастьяном у коробейника за вместительность и исключительный внешний вид.

– В билетах сказано, что багаж входит в стоимость проезда.

– Один чемодан. – Проводник поднял палец, точно сомневаясь в способности упертого пассажира считать до единицы. – За остальное барахло – плати.

Платить пришлось.

Пан Сигизмундус возмущался.

Кипел.

Плевался латинскими изречениями, от которых на лице проводника появлялось выражение величайшей муки, долго и мучительно копался в кошеле, пересчитывая монетки, выбирая те, которые поплотнее.

Но заплатил.

И, поднявшись по крутой лесенке со ржавыми ступенями, велел:

– Подайте.

– Сам возьми, – хмыкнул проводник и повернулся к неприятному пассажиру задом.

– Вы взяли деньги!

– За провоз. Чемоданы свои сам таскай... небось не шляхтич.

Пан Сигизмундус был оскорблен до самых глубин своей высоконаучной души, которая требовала мести, и немедленно. Правда, месть она представлялась мероприятием сложным, почти невыполнимым, ибо был проводник крепкого телосложения, немалой ширины плеч да и кулаками обладал пудовыми.

– За между прочим... – Пану Сигизмундусу пришлось за багажом спуститься, на что лесенка ответила протяжным скрипом. – За между прочим... – Пан Сигизмундус оправил шарф и, не имея иных возможностей отомстить – лимерик, который он дал себе слово сложить при первой же оказии, не в счет, – обдал проводника взглядом, исполненным презрения. – Предки мои сражались на Вроцлавском поле! И я имею титул барона... от дядюшки достался...

Это он сказал для панны Зузинской, которая за эскападою наблюдала с немалым интересом.

Проводник вновь хмыкнул.

Титула у него не было, да только ему и без титула жилось неплохо. И, отступив в сторонку – панну Зузинскую, добрую свою знакомую, он поприветствовал кивком, – проводник изготовился наблюдать. Вот тщедушный студиозус ухватился за сумку, запыхтел, отрывая оную от земли. И с нею в полуобнимку попытался подняться... едва не упал и сумку выронил.

Что-то звякнуло. Задребезжало.

А лик студиозуса сделался морковно-красным, ярким.

– Возмутительно! – воскликнул он.

Проводник отвернулся.

Его служебные обязанности, благодаря заботе железнодорожного ведомства, были очерчены четко, и пронос багажа в них не значился.

Для того носильщики есть.

Отстав от сумки, студиозус принялся за чемоданы. С ними он управился легко, видать, не глядя на размер, были они довольно-таки легки. А после все же вернулся к сумке...

– Что у вас там? – поинтересовалась панна Зузинская, которой сие представление уже успело надоесть. – Камни?

Студиозус отчего-то смешался. Побелел. И неловко промямлил:

– Книги. Очень дорогие мне книги... монографии... – Он все же поднял сумку, которую ныне держал, прижимая к груди обеими руками.

– Зачем вам книги? Там, – панна Зузинская махнула на рельсы, – от книг нет никакого толку...

Говорила она вполне искренне, но студиозус смутился еще сильнее.

– Понимаете, – громким шепотом произнес он, косясь на проводника, который делал вид, будто бы занят исключительно голубями. Оные слетались на перрон, бродили меж поездов,

курлыкали, гадили, чем всячески отравляли жизнь дворникам и иным достойным людям. – Понимаете... наш домовладелец – черствый человек... как мог я ему доверить то ценное, что есть у меня...

И рученькой этак сумку погладил. Обернулся, смерив лестницу решительным взглядом.

– Мы с кухней утратили наш дом... но обретем новый. Я верю...

– Два медня, – с зевком произнес проводник и руку протянул. – И помогу...

Деньги студиозус отсчитал безропотно. Но зато на ступеньку взлетел за проводником и сумку почтай выдрал из рук. И в вагоне ее пристроил в наилучшем месте, у окошка, тряпичею отер, бормоча:

– Знания – сила...

Кухня его, разобитая, ничего не сказала.

Она устроилась на месте, согласно билету, и сидела с видом премного оскорбленным до самого отправления. Студиозус, также обиженный, правда, не на кухню, а на самую жизнь во всем ее многообразии несправедливостей, устроился напротив с тощею книжечкой в руках.

Этак они и молчали, с выражением, с негодованием, которое, впрочем, некому было оценить.

Первой сдалась панна Зузинская.

Она сняла шляпку, устроив ее в шляпную коробку, оправила воротник, и манжеты машинного кружева, и сердоликовую брошь с обличьем томной панночки, быть может, даже самой панны Зузинской в молодые ее годы.

Из корзины появилась корзинка, прикрытая платочком, и с нею кроткая, аки голубица, панна Зузинская направилась к соседям.

– Не желаете ли чаю испить? – обратилась она вежливо ко всем и ни к кому конкретно.

Девушка помрачнела еще больше, верно, живо представив себе посуду, из которой придется потреблять рекомый чай. А кузен ее отложил книжечку и кивнул благосклонно.

– Учись, Дуся, – произнес он, когда на откидной столик скатерочкой лег белый платок, ко всему еще и расшитый незабудочками. – Путь к сердцу мужчины лежит через желудок...

На платочек стала фарфоровая тарелочка с пирожками и другая, где горкой высились творожные налистники, рядом лег маковый пирог...

– Ах, какие ее годы! – Панна Зузинская от этакоего нечаянного комплимента зарделась по-девичьи. – Все придет со временем... вы пробуйте, пробуйте... пирожки сама пекла...

Себастьян попробовал, надеясь, что поезд не настолько далеко от Познаньску отбыл, чтобы уже пора пришла от пассажиров избавляться. Пирожок оказался с капустой да грибами, явно вчерашний и отнюдь не домашней выпечки, скорее уж из тех, которые на вокзале продавали по полдюжины за медень.

– Вкусно. – Пану Сигизмундусу этакое кулинарные тонкости были недоступны, разум его смятенный занимали проблемы исключительно научные или же на худой конец – жизненно-финансовые. И онный разум нашептывал, что отказываться от дармового угощения неразумно.

Евдокия пирожок пробовала с опаской. Но ела, жевала тщательно...

– А что, позвольте узнать, вы читаете? – Панна Зузинская сама и за чаем сходилась.

Принесла три стакана в начищенных до блеску подстаканниках.

– Сие есть научный труд по сравнительной морфологии строения челюстей упыря обыкновенного, – важно произнес Сигизмундус и, пальцы облистав, потянулся за новым пирожком.

– Как интересно! – всплеснула руками панна Зузинская. – И об чем оно?

– Ну... – Труд сей, как по мнению Себастьяна, являл собой великолепный образец научного занудства высочайшей степени, щедро сдобренный не столько фактами, сколько собствен-

ными измышлениями вкупе с несобственными, к месту и не к месту цитируемыми философскими сентенциями. – Об упырях...

– Да неужели? – пробормотала Евдокия и, во избежание конфликта, самоустранилась, переключив внимание свое на маковый пирог.

Ела она медленно, тщательно прожевывая каждый кусок, чем заслужила одобрительный взгляд панны Зузинской.

– Женщине незамужней, – сказала она, на миг позабыв и про книжку, и про упырей, – надлежит питаться одною росиночкой, аки птичка Ирженина...

Правда, потом вспомнила про голубей, тварей довольно-таки прожорливых, и вновь обратилась к Сигизмундусу:

– Значит, нонешняя наука и до упырей добралась?

– А то! – Сигизмундус загнул уголок страницы. – Упырь, чтоб вы знали, панна Зузинская, это вам не просто так, человек прямоходящий, сосучий, это – интереснейший объект для наблюдений!

Говорил он, не прекращая жевать, и пирожки один за другим исчезали в ненасытной студенческой утробе. Панна Зузинская мысленно прикинула, что этак ей для сурьезного разговору может и ресурсу не хватить.

– Упыри бывают разные. Вот пан Лишковец, – Сигизмундус поднял книжицу, взывая к академическому авторитету ее автора, – утверждает, что собственно упырей имеется семь разновидностей. Иные, конечно, относят к упырям и валохского носферата, но, по мнению пана Лишковца, сие неразумно ввиду полной мифологичности означенного вида...

– Вы так чудесно рассказываете... – Панна Зузинская подвинула корзинку с недоеденными пирожками поближе к студиозусу. – Я и не знала, что их столько... а у вас, значит, только кузина из всей родни осталась?

Сигизмундус кивнул, поскольку ответить иначе был не способен. Рот его был занят пирожком, на редкость черствым, с таким с ходу не способны были справиться и тренированные челюсти Сигизмундуса.

– Бедная девочка! – Панна Зузинская похлопала Евдокию по руке. – Женщине так тяжело одной в этом мире...

– Я не одна. Я с кузеном.

Глаза панны Зузинской нехорошо блеснули.

– Конечно, конечно, – поспешила заверить она. – Однако я вижу, что ваш кузен, уж простите, всецело отдан науке...

– С этой точки зрения, – Сигизмундус говорил медленно, ибо зубы его вязли в непрожаренном тесте, – представляется несомненно актуальным труд пана Лишковца, каковой предлагает использовать для систематики и номенклатуры упырей специфику строения их челюстного аппарата...

– Не обижайтесь, дорогая, – прошептала на ухо панна Зузинская, – но ваш кузен... вряд ли он сумеет достойно позаботиться о вас. Такие мужчины ценят свободу...

– И что же делать?

– ...особое внимание следует уделить величине и форме верхних клыков.

Панна Зузинская коснулась камей, тонкого девичьего лица, который на мгновение стал будто бы ярче.

– Выйти замуж, милочка... выйти замуж.

Глава 2

Все еще дорожная

*Скользкому человеку трудно взять себя в руки.
Открытие, совершенное неким паном Бюциковым, потомственным
банищиком, в процессе помытия некоего поместного судии*

С того первого разговора и повелось, что панна Зузинская не отходила ни на шаг, будто бы опасаясь, что если вдруг отлучится ненадолго, то Евдокия исчезнет.

– Видите ли, милочка, – говорила она, подцепляя спицей шелковую нить, – жена без мужа, что кобыла без привязи...

Кобылой Евдокия себя и ощущала, племенной, назначенной для продажи, и оттого прикосновения панны Зузинской, ее внимательный взгляд, от которого не укрылся ни возраст Евдокии, ни ее нынешнее состояние, точнее, отсутствие одного, были особенно неприятны.

Зато укрылось и медное колечко, к которому Евдокия почти привыкла, и перстень Лихославов. Странно было, Евдокия точно знала, что перстень есть, чувствовала его и видела. А вот панна Зузинская, пусть и глядела на руки во все глаза, но такой малости заметить не сподобилась.

– Куда идет, куда бредет... а еще и каждый со двора свести может, – продолжала она, поглядывая на Сигизмундуса, всецело погруженного в хитросплетения современной номенклатуры упырей.

– Тоже полагаете, что женщина скудоумна? – поинтересовалась Евдокия, катая по столу яйцо из собственных запасов Сигизмундуса. Выдано оно было утром на завтрак со строгим повелением экономить, ибо припасов не так чтобы и много.

Впрочем, себя-то Сигизмундус одним яйцом не ограничил, нашлась среди припасов, которых и вправду было немного, ветчинка, а к ней и сыр зрелый, ноздреватый, шанежки и прочая снедь, в коей Евдокии было отказано.

– Женщине следует проявлять умеренность, – Сигизмундус произнес сию сентенцию с набитым ртом, – поелику чрезмерное потребление мясного приводит к усыханию мозговых оболочек...

Яйцо каталось.

Панна Зузинская вязала, охала и соглашалась что с Евдокией, что с Сигизмундусом, которого подкармливала пирожками. Откуда появлялись они в плетеной корзинке, Евдокия не знала и, честно говоря, знать не желала. За время пути пирожки, и без того не отличавшиеся свежестью, вовсе утратили приличный внешний вид, да и пахло от них опасно, но Сигизмундус ни вида, ни запаха не замечал. Желудок его способен был переварить и не такое.

– Ой, да какое скудоумие... – отмахнулась панна Зузинская, – на кой ляд женщине ум?

И спицею этак ниточку подцепила, в петельку протянула да узелочек накинула, закрепляя.

– Небось в академиях ей не учиться...

– Почему это? – Евдокии было голодно и обидно за всех женщин сразу. – Между прочим, в университет женщин принимают... в Королевский...

– Ой, глупство одно и блажь. Ну на кой бабе университет?

– Именно, – охотно подтвердил Сигизмундус, ковыряясь щепой в зубах. А зубы у него были крупные, ровные, отвратительно-белого колеру, который гляделся неестественным. И Евдокия не могла отделаться от мысли, что зубы сии, точно штакетник, попросту покрыли толстым слоем белой краски.

– Чему ее там научат?

– Математике, – буркнула Евдокия и сделала глубокий вдох, приказывая себе успокоиться.

Агафья Прокофьевна засмеялась, показывая, что шутку оценила.

– Ах, конечно... без математики современной женщине никак не возможно... и без гиштории... и без прочих наук... Дусенька, вам бы все споры спорить...

Спорить Евдокия вовсе не собиралась и тут возражать не стала, лишь вздохнула тяжко.

– А послушайте человека пожилого, опытного, такого, который всю жизнь только и занимался, что чужое счастье обустроивал... помнится, мой супруг покойный... уж двадцать пять лет как преставился... – Она отвлеклась от вязания, дабы осенить себя крестом, и жест этот получился каким-то неправильным. Размашистым? Вольным чересчур уж? – Он всегда говорил, что только со мною и был счастлив...

– А имелись иные варианты? – Сигизмундус отложил очередную книжечку. – Чтоб провести, так сказать, сравнительный анализ...

Панна Зузинская вновь рассмеялась и пальчиком погрозила:

– Помилуйте! Какие варианты, это в нынешние-то времена вольно все... люди сами знакомство сводят... письма пишут... любовь у них. Разве ж можно брак на одной любви строить?

– А разве нет?

– Конечно нет! – с жаром воскликнула Агафья Прокофьевна и даже рукоделие отложила. – Любовь – сие что? Временное помешательство, потеря разума, а как разум вернется, то что будет?

– Что? – Сигизмундус вперед подался, уставился на панну Зузинскую круглыми жадными глазами.

– Ничего хорошего! Он вдруг осознает, что супружница не столь и красива, как представлялось, что капризна аль голосом обладает неприятственным...

– Какой ужас. – Евдокия сдвинула яйцо в кулаке.

– Напрасно смеетесь, – произнесла Агафья Прокофьевна с укоризною. – Из-за неприятного голоса множество браков ущерб претерпели. Или вот она поймет, что вчерашний королевич вовсе не королевич, а младший писарчук, у которого всех перспектив – дослужиться до старшего писарчука...

– Печально...

Почудилось, что в мутно-зеленых, болотного колеру глазах Сигизмундуса мелькнуло нечто насмешливое.

– А то... и вот живут друг с другом, мучаются, гадают, кто из них кому жизнь загубил. И оба несчастные, и дети их несчастные... бывает, что и не выдерживают. Он с полюбовницей милуется, она – с уланом из дому сбегает... нет, брак – дело серьезное. Я так скажу.

Она растопырила пальчики, демонстрируя многоцветье перстней.

– Мне моего дорогого Фому Чеславовича матушка отыскала, за что я ей по сей день благодарная. Хорошим человеком был, степенным, состоятельным... меня вот баловал...

Агафья Прокофьевна вздохнула с печалью:

– Правда, деток нам боги не дали, но на то их воля...

И вновь перекрестилась.

Как-то...

Сигизмундус пнул Евдокию под столом, и так изрядно, отчего она подскочила.

– Что с вами, милочка? – заботливо поинтересовалась Агафья Прокофьевна, возвращаясь к рукоделию.

– Замуж... хочется, – процедила Евдокия сквозь зубы. – Страсть до чего хочется замуж...

– Только кто ее возьмет без приданого...

– Дорогой кузен, но ведь папенька мне оставил денег!

– Закончились...

– Как закончились?! Все?

Сигизмундус воззрился на кухню с немым упреком и мягко так произнес:

– Все закончились. Книги ныне дороги...

– Ты... – Евдокию вновь пнули, что придало голосу нужное возмущение. – Ты... ты все мои деньги на книги извел?! Да как ты мог?!

– И еще на экспедицию. – Сигизмундус к гневу кухни отнесся со снисходительным пониманием, каковое свойственно людям разумным, стоящим много выше прочих. – На снаряжение... на...

– Ах, не переживайте, милочка. – Агафья Прокофьевна несказанно оживилась, будто бы известие об отсутствии у Евдокии приданого было новостью замечательной. – Главное приданое женщины – ее собственные таланты. Вот вы умеете варенье варить? Сливовое?

Евдокия вынуждена была признать, что не умеет. Ни сливовое, ни иное какое. И в подушках ничего не смыслит, не отличит наощупь пуховую от перьевой. В вышивании и прочих рукоделиях женского плану и вовсе слаба... каждое подобное признание Агафья Прокофьевна встречала тяжким вздохом и укоризненно головой качала.

– Вашим образованием совершенно не занимались... но это не беда... выдадим мы тебя замуж... поверь тетушке Агафье.

Сигизмундус закашлялся.

– Что с тобою, дорогой кузен? – Евдокия не упустила случая похлопать кузена по узкой спине его, и хлопала от души, отчего спина она вздрагивала, а кузен наклонялся, едва не ударяясь о столик головой.

– П-поперхнулся... – Он вывернулся из-под руки.

Агафья Прокофьевна наблюдала за ними со снисходительной усмешечкой, будто бы за детьми малыми.

– Значит, ее можно сбыть? – Он ткнул пальцем в Евдокиин бок. – Ну то бишь замуж выдать...

– Можно, – с уверенностью произнесла панна Зюзинская. – Конечно, она уже не молода, и без приданого, и по хозяйству, как я понимаю, не особо спорна...

– Не особо... – согласился Сигизмундус.

– Приграничье – место такое. – Спицы в пальчиках Агафьи Прокофьевны замелькали с вовсе невообразимой скоростью, отчего еще более сделалась она похожей на паучиху, правда, паучихи не носили золотых перстней, но вот... – Мужчин там много больше, чем женщин... нет, есть такие, которые с женами приезжают, но и холостых хватает. И каждому охота семейной тихой жизни...

С оным утверждением Себастьян мог бы и поспорить, но не стал.

– А где найти девицу, чтоб и норову спокойного, и небалованная, и согласная уехать в этакую даль?

– Мы подумаем, – ответил Сигизмундус, когда панна Зюзинская замолчала. – Быть может, это и вправду достойный выход...

Кухня так не считала. Сидела с несчастным яйцом в руке, поглядывала мрачно что на сваху, что на Сигизмундуса...

– Что тут думать-то? – Агафья Прокофьевна всплеснула ручками. – Свататься надобно... сватовство, ежели подумать, дело непростое, у каждого народа свой обычай. Да что там народ... в каждой волости по-своему что смотрины ведут, что свадьбу играют...

...она щебетала и щебетала, не умолкая ни на мгновение.

– ...вот, скажем, у саровынов заведено так, что жениха с невестой ночевать в сарай спроваживают аль еще куда, в овин, амбар... главное, что не топят, какие б морозы ни стояли, и дают с собою одну шкуру медвежью на двоих. А у вакутов наутро после свадьбы сватья несет

матери невесты стакан с водою. И коль невеста себя не соблюла, то в стакане оном, в самом доньшке, дырку делают. И сватья ее пальцем затыкает. А как мать невесты стакан принимает, то из той дырочки и начинается вода литься, всем тогда видно... позор сие превеликий...

Евдокия вздыхала.

И слушала.

И проваливалась в муторную полудрему, которая позволяла хоть и ненадолго избавиться от общества панны Зузинской. Но та продолжала преследовать Евдокию и в снах, преображенная в огромную паучиху. Вооруженная десятком спиц, она плела кружевные ловчие сети и приговаривала:

– ...а в Залесской волости после свадьбы, ежели девка девкою не была, то собираются все жениховы дружки, и родичи его, и гости, какие есть. И все идут ко двору невесты с песнями, а как дойдут, то начинают учинять всяческий разгром. Лавки ломают, ворота, окна бьют... и от того выходит ущерб великий. А уж после-то, конечно, замиряются...

После таких снов Евдокия пробуждалась с больною тяжелой головой.

– Терпи, – прошептал Себастьян, когда поезд остановился на Пятогурской станции. Остановка грозила стать долгой, и панна Зузинская вознамерилась воспользоваться ею с благой целью – пополнить запас пирожков.

После ее ухода стало легче.

Немного.

– Что происходит? – Евдокия потерла виски, пытаясь унять ноющую боль. И в боли этой ей вновь слышался нарочито-бодрый, но все ж заунывный голос панны Зузинской.

– Колдовка она. – Себастьян обнял, погладил по плечу. – Правда, слабенькая. Пытается тебя заговорить. Не только тебя, – уточнил он.

Колдовка? Сия назойливая женщина со звонким голосом, со спицами своими, салфеткою и корзинкой да пирожками – колдовка?

– От таких вреда особого нет. – На миг из-под маски Сигизмундуса выглянул иной человек, впрочем, человек ли? – Заморочить могут, да только на то сил у них уходит изрядно... помнится, была такая Марфушка, из нищенок. У храмов обреталась, выискивала кого пожалостливей из паствы храмовой, цеплялась репейником да и тянула силы, пока вовсе не вытягивала.

Он убрал руки, и Евдокия едва не застонала от огорчения.

Ей отчаянно нужен был кто-то рядом.

И желание это было иррациональным, заставившим потянуться следом.

– Это не твое. – Себастьян покачал головой. – Марфуша была сильной... много сильней... намаялись, пока выяснили, отчего это на Висловянском храме люди так мрут... вот... а эта... у этой только на головную боль и хватит.

– И что ты собираешься делать? – За внезапный порыв свой было невыносимо стыдно, и Евдокия прикусила губу.

– Пока ничего. Она не причинит действительно вреда. А вот посмотреть... присмотреться...

Евдокия отвернулась к мутному окну.

Присмотреться? Да у нее голова раскалывается. Охота сразу и смеяться, и плакать, а паче того – прильнуть к чьей-нибудь широкой груди... даже и не очень широкой, поскольку Сигизмундус отличался характерною для студизусов сутуловатостью.

Это не ее желание.

Не Евдокии.

Наведенное. Наговоренное. Но зачем? И вправду ли она, Евдокия, столь завидная невеста? Нет, прошлая-то да при миллионном приданом – завидная. А нынешняя? Деввица неопре-

деленного возрасту, но явно из юных лет вышедшая. При кузене странноватом в родичах, при паре чумоданов, в которых из ценностей – книги одни...

– Правильно мыслишь, Дуся. – Сигизмундус кривовато усмехнулся. – Мне вот тоже интересно, зачем оно все?

Он замолчал, потому как раздался протяжный гудок, а в проходе появилась панна Зузинская, да не одна, а с тремя девицами на редкость скучного обличья: круглолицые, крупные, пожалуй что чересчур уж крупные, одинаково некрасивые. Смотрели девицы в пол и еще на Сигизмундуса, притом что смотрели искоса, скрывая явный и однозначный свой интерес. В руках держали сумки, шитые из мешковины.

– Доброго дня, – вежливо поздоровалась Евдокия, чувствуя, как отступает назойливая головная боль.

Вот, значит, как.

Заговорить? Убедить, что ей, Евдокии, и жить без замужества невозможно? А без самой панны Зузинской света белого нет?

– Доброго, Дусенька... доброго... идемте, девушки, обустроимся...

– Ваши...

– Подопечные, – расплылась Агафья Прокофьевна сладенькою улыбочкой. – Девочки мои... сговоренные ужо...

Девочки зарделись, тоже одинаково, пятнами.

– Едем вот к женихам... идемте, идемте... – Она подтолкнула девиц, которые, похоже, вовсе не желали уходить. Оно и верно, где там еще эти женихи? А тут вот мужчинка имеется, солидного виду, в очках синих, с шарфом на шее. Этакого модника на станции, да что на станции, небось во всем городке не сыскать. И каждая мысленно примерила на руку его колечко заветное...

Вот только Агафья Прокофьевна не имела склонности допускать всякие там фантазии.

– Женихи, – произнесла она строгим голосом, от которого у Евдокии по спине мурашки побежали, – ждут!

И этак самую толстую из девиц, уже и про скромность позабывшую – а то и верно, какая у старой девы скромность-то? – палившуюся на Сигизмундуса с явным интересом, локоточком в бок пихнула.

Девушка ойкнула и подскочила...

– Я сейчас, Дусенька... девочек обустрою...

– Девочек? – шепотом спросила Евдокия, когда панна Зузинская исчезла за вереницей лавок. – Что здесь происходит?!

И тощую ногу Сигизмундуса пнула, во-первых, на душе от пинка одного ощутимо полегчало, во-вторых, он и сам пинался, так что Евдокия просто должок возвращала.

– Я и сам бы хотел знать.

Второй гудок заставил вагон вздрогнуть. Что-то заскрежетало, с верхней полки свалился грязный носовой платок, забытый, верно, кем-то из пассажиров, и судя по слою грязи, за которым исконный цвет платка был неразличим, забытый давно.

А в третьем вагоне объявились новые пассажиры.

Первой шла, чеканя шаг, девушка в дорожном платье, явно с чужого плеча. Шитое из плотной серой ткани, оно было тесновато в груди, длинные рукава морщили, собирались у запястий складочками, и девушка то и дело оные рукава дергала вверх.

На лице ее бледном застыло выражение мрачной решимости.

Следом за девицей шествовала троица монахинь, возглавляемая весьма корпулентною особой. Поравнявшись с Евдокией, монахиня остановилась. Пахло от нее не ладаном, но оружейным маслом, что было весьма необычно. Хотя... что Евдокия в монахинях понимает?

– Мира вам, – сказала она басом, и куца верхняя губа дернулась, обнажая желтые кривые зубы.

– И вам, – ответила Евдокия вежливо.

Но смотрела монахиня не на нее, на Сигизмундуса, который делал вид, будто бы всецело увлечен очередной книженцией.

– И вам, и вам. – Сигизмундус перелистнул страницу, а монахиню не удостоил и кивка, более того, весь вид его, сторбившегося над книгой, наглядно демонстрировал, что, помимо оной книги, не существует для Сигизмундуса никого и ничего.

Монахиня хмыкнула и перекрестилась. Под тяжкою поступью ее скрипел, прогибался дощатый пол.

Последним появился мрачного обличья парень. Был он болезненно бледен и носат, по самый нос кутался в черный плащ, из складок которого выглядывали белые кисти. В руках парень тащил саквояж, что характерно, тоже черный, разрисованный зловещими символами.

Шел он, глядя исключительно под ноги, и, кажется, об иных пассажирах вовсе не догадывался...

– Интересно, – пробормотал Сигизмундус, который от книги все ж отвлекся, но исключительно за-ради черствого пирожка, – очень интересно...

Что именно было ему интересно, Евдокия так и не поняла.

Третий гудок, возвестивший об отправлении поезда, отозвался в голове ее долгой ноющей болью. Вагон же вновь содрогнулся, под ним что-то заскрежетало протяжно и как-то совсем уж заунывно... а за окном поползли серые, будто припыленные деревья.

До конечной станции оставались сутки пути.

Гавриил тяготился ожиданием.

– ...а вот, помнится, были времена... – Густое сопрано панны Акулины заполнило гостиную, заставляя пана Вильчевского болезненно кривиться.

От громкого голоса дребезжали стеклышки в окнах. А вдруг, не приведите боги, треснут? Аль вовсе рассыплются?

И сама-то гостя в затянувшемся своем гостевании отличалась немалым весом, телом была обильна, а нравом вздорна. Оттого и не смел пан Вильчевский делать замечание, глядя на то, как раскачивается она в кресле. Оно-то, может, и верно, что креслице оное, с полозьями, было для качания изначально предназначено, но ведь возрасту оно немалого! Небось еще бабку самого пана Вильчевского помнило и матушку его... и к креслу сему, впрочем, как и ко всей другой мебели, и не только мебели, относился он с превеликим уважением.

И если случалось присаживаться, то мостился на краешке самом, аккуратненько.

А она... развалилася... еле-еле вперла свои телеса, в шелка ряженные...

– От поклонников прятаться приходилось...

– Успокойтесь, дорогая Акулина, это было давно, – дребезжащим голосом отзывалась заклитая ее подруга, панна Гурова. Вот уж кто был веса ничтожного, для мебели безопасного, что не могло не импонировать пану Вильчевскому, который одно время всерьез почти задумывался над сватовством к панне Гуровой. А что, мужчина он видный, при гостинице своей, она же тещедушна и легка, в еде умеренность блюдет, к пустому транжирству не склонна... Вот только собаки ейные...

Собак пан Вильчевский категорически не одобрял.

Мебель грызут. На коврах валяются. Шерсть оставляют. Вон, разлеглись у ног панны Гуровой, глаз с нее не сводят. С другой стороны, конечно, шпицы – охотники знатные, с ними и кошки не надобно, всех мышей передушили, но так для того одной собаченции хватит, какой-нибудь меленькой самой, а у ней – стоя...

– Ах, вам ли понять тонкую душу...

Панна Акулина вновь откинулась в кресле, манерно прижавши ручку к белому лбу.

Сегодня она одевалась с особым тщанием, и лицо пудрила сильнее обычного, и брови подрисовала дужками, и ресницы подчеркнула, и надела новое платье из цианьского шелку, синее, с георгинами.

– ...истинная любовь не знает преград... – В руке появился надушенный платочек, которым панна Акулина взмахнула.

Шпицы заворчали.

– ...и если вспомнить о недавнем происшествии, то станет очевидна несостоятельность ваших... вашего, панна Гурова, мировоззрения. – О происшествии панна Акулина вспоминала с нежностью, с трепетом сердечным, и чем дальше, тем более подробными становились воспоминания.

Гавриил покраснел, радуясь, что место выбрал такое, темное, в уголке гостиной.

Впрочем, с панной Акулиной он столкнулся за завтраком, и побледнел, прижался к стене, опасаясь, что вот сейчас будет узнан. Она же, окинув нового постояльца взглядом, преисполненным снисходительного презрения, проплыла мимо.

Гавриил не знал, что в воображении панны Акулины образ гостя ее ночного претерпел некоторые изменения. Оный гость стал выше, шире в плечах, обзавелся загаром и сменил цвет волос.

Что сделать, ежели панна Акулина всегда имела слабость к брюнетам?

Панна Гурова ничего не ответила, и молчание ее было воспринято панной Акулиной как признание маленькой своей победы.

– Вам просто не понять, что чувствует женщина, которой добивается мужчина...

– Колдовки, – пробормотал королевский палач.

Вот уж кто был идеальным постояльцем, тихим, незлобивым, несмотря на профессию, о которой пан Вильчевский старался не думать. Да и то, мало ли чем люди на жизнь зарабатывают? Главное, чтоб заработанного хватало на оплату пансиона.

– Сжечь обеих? – с готовностью включился в беседу Гавриил, который по сей день чувствовал себя несколько стесненно, стыдно было, что он не просто так живет, а с тайным умыслом и за людьми следит бесстыдно... и даже в комнаты забраться думает, что, правда, не так уж и просто.

Та же панна Гурова покои свои покидает дважды в день, за-ради прогулки со шпицами, но в то время в комнатах ее убирается пан Вильчевский. С панной Акулиной то же самое, она и вовсе выходит редко... а пан Зусек, из всех постояльцев представляющийся наиболее подозрительным, и вовсе не оставлял номер без присмотра, то жена, то странная сестрица ее...

– Сжечь? – с явным удовольствием повторил королевский палач и даже за-ради этакой okazji – собеседников, готовых поддержать тему пристойной казни, он находил чрезвычайно редко, – рукоделие отложил. – От ту-то и сжечь можно...

Костлявый палец указал на панну Гурову.

– А другая... нет, не выйдет... уж больно расходно получится... оно-то как? На каждого приговоренного из казны выписывается что дрова, что маслице, что иной невозвратный инвентарь. И не просто так выписывается, а на вес... на каждую четверть пуда прибавляется.

Гавриил подумал и согласился, что оных четвертей в панне Акулине на пудов десять наберется, и вправду, жечь ее – сплошные для казны убытки. Появилось даже подозрение, что казнь сию отменили вовсе не из человеколюбия, а в силу ее для государства разорительности.

– Ах, дорогая, – панна Акулина раскачивалась, помахивала ручкой, платочек в ней трепетал белым знаменем, – не представляю, как это возможно, жизнь прожить без любви... очень вам соболезную...

Панна Гурова выразительно фыркала, поелику была все-таки дамой благовоспитанной и урожденною шляхеткой, в отличие от некоторых, и засим не могла позволить себе опуститься и сказать, где видела она эту самую великую любовь...

И вообще, она любила и любит.

Шпицев.

В отличие от людишек, которые к панне Гуровой были не особо добры что в девичестве, что в женские зрелые годы, когда обретенное семейное счастье рухнуло из-за скоропостижной смерти супруга – и ведь умер, стервец этакий, не дома, приличненько, а в постели полюбовницы, актрисульки среднего пошибу...

Нет, шпицы всяк людей милее.

– Вы и представить, верно, не способны, каково это, когда сердце оживает, трепещет... – Панна Акулина уже не говорила, пела, во весь голос притом, а голос оный некогда заставлял дребезжать хрустальную люстру в Королевском театре. Стоило ли ждать, что выдержит его мощь крохотная гостиная?

Зазвенели стаканы.

Гавриил зашипел, а палач лишь хмыкнул:

– Эк верещит... нет, ее притопить надобно... было прежде так заведено, что ежели на которую бабу донесут, будто бы она баба колдовством черным балуется, то и приводят ее к градоправителю аль к цеховому старшине на беседу... а он уже смотрит, решает, колдовка аль нет. Ежели не понятно с первого-то погляду, тогда и приказывает вести к железному стулу...

– Какому? – Гавриил отвлекся от созерцания панны Гуровой, которая глядела на вокальные экзерсисы давней соперницы с презрением, с отвращением даже.

И было на ее лице нечто этакое, нечеловеческого толку.

– Железному, – охотно повторил старичок. – В старые времена в каждом приличном городе стоял что столб позорный, что стул у реки ну или, на худой конец, у колодца. К нему и строптивых жен привязывали во усмирение, и склочниц, и торговков, ежели в обмане уличали... пользительная вещь. Макнешь бабу разок-другой, она и притихнет. Колдовок-то надолго притапливали, чтоб весь дух вышел. А после вытаскивали. Ежели еле-еле живая, то ничего... отпускали, значит, мало в ней силы. А вот когда баба опосля этакого купания бодра да верещит дурным голосом, тогда-то...

Он замолчал, прищурился, и на лице его появилось выражение задумчивое, мечтательное даже. Признаться, Гавриилу не по себе стало, потому как живо представил он, как многоуважаемый пан Жигимонт в мыслях казнь совершает, и отнюдь не одной громогласной панны Ангелины.

– Прежде все-то было по уму, а в нынешние-то времена... – Пан Жигимонт покачал головой и языком поцокал, показывая, сколь нынешние времена ему не по вкусу. – Судейских развелось, что кобелей на собачьей свадьбе... судятся-рядятся, а порядку нету...

– Опять вы о своем? – Панна Каролина всплыла в комнату. Была она не одна, но с супругом, и Гавриил вновь поразился тому, до чего нелепо, несообразно глядится эта пара. – Ах, пан Жигимонт, вы меня поражаете своим упорством...

Ее окружало облако духов, запах их пряный, пожалуй, излишне резкий щекотал нос, и Гавриил не выдержал, расчихался.

– И-извините... – Взгляд черных гишпанских глаз заставил его густо покраснеть, он вдруг ощутил себя человеком жалким до невозможности, никчемным и годным едино волкодлакам на пропитание... нехстати вспомнилась вдруг матушка.

Братья.

И отчим, образ которого Гавриил всячески гнал из памяти, но тот, упертый, возвратился.

– И-извините. – Он вытащил из кармана платок и прижал к носу. – Аллергия...

– Надеюсь, не на меня? – Шелковая ладонь панны Каролины скользнула по щеке. – Было бы огорчительно, ежели б юноша столь очаровательный...

Она мурлыкала. И глядела прямо в глаза, и от взгляда ее становилось неловко. Гавриил ясно осознал, что сия женщина, великолепная, какой только может быть женщина, стоит несоизмеримо выше его. И с высоты своей смотрит на него с интересом.

Жалостью?

Насмешкой... к насмешкам Гавриил привык, жалости стыдился, а вот интерес этот...

– Не на вас... на... на цветную капусту! – выпалил он и покраснел, поскольку врать было нехорошо. И одно дело, если ложь служила во благо государства и людей, и совсем другое, когда Гавриил врал для себя.

– На цветную капусту? – удивилась Каролина. – Никогда не слышала, чтобы у кого-то была аллергия на цветную капусту!

– Значит, я особенный... – Гавриил вновь чихнул и поднялся. – И-извините... я... я, пожалуй, пойду...

Однако панна Каролина настроена была на беседу.

– Простите. – Она взяла Гавриила под руку, а он не посмел отказать ей в такой малости. Запах духов сделался вовсе невыносим. – Но где, позвольте узнать, вы нашли здесь цветную капусту?

Ее бархатный голос, пусть и был не столь богат, как у панны Акулины, завораживал.

И не только голос.

Темно-винного колеру платье облегалo фигуру Каролины столь плотно, что казалось, будто бы оно не надето – приклеено к смуглой ее коже. И у Гавриила появилось престранное желание – скосырнуть краешек, проверить, и вправду ли приклеено, а если и вправду, то крепко ли держится.

Взгляд его, обращенный не на лицо, но в вырез, пожалуй, чересчур уж смелый, хотя и следовало признать, что смелость сия происходила исключительно от осознания Каролиной собственных немалых достоинств, затуманился.

– К-капусту? – переспросил Гавриил, немалым усилием воли заставив себя взгляд ответить.

И узрел, что к беседе их прислушивается не только пан Жигимонт.

– Капусту, – подтвердила Каролина, и вишневые губы ее тронула усмешка. – Цветную.

– Она... – Гавриил сглотнул. – Она где-то рядом... я чувствую!

Получилось жалко.

Но от дальнейших объяснений его избавил очередной приступ чихания, который длился и длился... и Гавриил не способен был управиться ни со свербящим носом, ни с глазами, из которых вдруг посыпались слезы.

– И-извините... – Он отступил, едва не опрокинув легкое плетеное креслице. Сей маневр не остался незамеченным, и пан Вильчевский нахмурился. Во-первых, креслице было почти новым – и десяти лет не простояло, во-вторых, он давно уже подозревал, что кто-то из жильцов чересчур уж вольно чувствует себя на кухне, поелику продукты, запасенные паном Вильчевским, имевшие и без того неприятное свойство заканчиваться, ныне заканчивались как-то слишком уж быстро.

Выходит, и вправду воруют...

Он тихонечко выскользнул из гостиной.

Спустился на кухню и открыл кладовую.

И замер, пораженный до глубины души... нет, цветная капуста, купленная позавчера по случаю – отдавали задешево, – была на месте. Пан Вильчевский видел крупные ее головки, заботливо укрытые соломой, и тыкву не тронули, равно как и аккуратненькие, прехорошенькие патиссончики, из которых он готовил чудесное жаркое.

А окорок исчез.

Пан Вильчевский всхлипнул от огорчения – за окорок он выложил полтора сребня, хотя и торговался долго, старательно. И для себя ни в жизни не приобрел бы такого роскошества, но постояльцы, чтоб их Хельм прибрал, капризничали. Мяса желали. Вот и пришлось.

Он покачнулся, чувствуя, как обмерло сердце, ухватился за косяк, но устоял.

Кто?

И главное, когда?

Пан Вильчевский вытянул руку, надеясь, что все же окорок на месте, а ему лишь мерещится с усталости, но нет, на полке было пусто, и лишь промасленная бумага, жирная, с мягким запахом копченостей, свидетельствовала, что оный окорок все же существовал.

Пан Вильчевский вышел.

И кладовую запер на ключ по привычке – к предателю-замку пан Вильчевский не имел более веры. Завтра же сменит, новый поставит, не поскупится на самый лучший... или на два...

А вора сдаст полиции.

Правда, в полиции к позднему звонку отнеслись несерьезно. Дежурный зевал и слушал пана Вильчевского без должного внимания, а после присоветовал замки сменить и больше не беспокоить занятых людей подобною ерундою.

Полтора сребня ущерба...

Это прозвучало так, будто бы эти полтора сребня, с которыми пан Вильчевский с немалым трудом расставался, были вовсе пустяковиной. А пану Вильчевскому, за между прочим, никто денег за так не дарит...

Нет, в полиции пан Вильчевский разочаровался всецело. Ничего. И без полиции управится. Небось не трудное это дело... утречком по комнатам пройдет, будто бы убираясь, глянет, что да как... там оно и ясно станет. Окорок приличный был, в полпуда, этакий за раз не потребишь, да и спрятать не выйдет.

Почти успокоившись – с похитителя он возьмет втрое против того, что сам уплатил, за нерву потраченную, – пан Вильчевский вернулся к себе...

Глава 3

О попутчиках всяких и разных

*Фигура, она или есть, или не надо есть...
Из размышлений панны Зузинской о жизни и некоторых своих
заклятых приятельницах*

На Вапьиной Зыби поезд сделал трехчасовую остановку. Вызвана она была не столько технической надобностью, сколько переменами в расписании.

– Бронепоезд пропускаем, – поведала панна Зузинская, которая чудесным образом умудрялась узнавать обо всем и сразу. – Ах, дорогая, не желаете ли прогуляться? По себе знаю, сколько тяжело даются женщинам путешествия... мы – создания слабые, о чем мужчины бесстыдно забывают...

Она покосилась на Сигизмундуса, который, забившись в уголок меж полками вагона, тихонечко дремал и вид при том имел самый благодный. Рот его был приоткрыт, на губах пузырилась слюна, а кончик носа то и дело подергивался.

– Мой кузен не одобрит... – Идти куда-то с колдовкою у Евдокии не было желания.

– Помилуйте, – отмахнулась Агафья Прокофьевна, – ваш кузен и не заметит... очень уж увлеченный человек...

Увлеченный человек приоткрыл глаз и подмигнул.

Идти, значит?

– Пожалуй... он такой... рассеянный, – вздохнула Евдокия.

И ридикуль взяла. Колдовка колдовкой, но в силу оружия она верила безоглядно.

Сигизмундус вытянул губы трубочкой и замычал так, будто бы страдал от невыносимой боли. Вяло поднял руку, поскреб оттопыренное ухо свое. Вздохнул.

– Идемте, – шепоточком произнесла панна Зузинская, верно не желая разбудить несчастного студизуса, уморенного наукой. – Свежий воздух удивительно полезен для цвету лица.

Стоило оказаться на узеньком перроне, как Евдокия убедилась, что местный воздух не столь уж свеж, как было то обещано, а для цвету лица и вовсе не полезен, поелику щедро сдобрен мелкой угольной пылью. Из-за нее першило в носу и горле, а панна Зузинская привычным жестом подняла шелковый шарфик до самых до глаз.

– Неприятное место, – призналась она.

И Евдокия с ней согласилась.

Их поезд стоял на пятом пути, и справа, и слева расползались полотнища железной дороги. Блестели на солнце наглаженные многими колесами рельсы, а вот шпалы были темны и даже с виду не более надежны, нежели треклятый третий вагон, который Евдокия успела возненавидеть от всей души. Меж путями росла трава, какая-то грязная, клочковатая. Виднелся вдали вокзал, низенький и более похожий на сарайчик, явно поставленный для порядку, нежели по какой-то надобности.

Да и само это место было... зябким? Неприятным.

– Границу чувствуете. – Панна Зузинская произнесла это едва ли не с сочувствием. – По первости тут всегда так... неудобственно. А после ничего, свыкнетесь, но, дорогая моя, прошу простить меня за вынужденный обман...

Ее голос ненадолго заглушил тонкий визг паровоза, заставивши Агафью Прокофьевну поморщиться.

– Тут недалеко шахты угольные, – пояснила она. – Вот и построили сортировочную станцию... задымили весь город.

Она раскрыла зонтик, под ним пытаясь спрятаться от вездесущей пыли.

– Но я не о том желала с вами побеседовать... видите ли, Дульсинея... меня очень беспокоит ваш кузен... он явно не желает, чтобы вы были счастливы!

Для пушего трагизму, видать, она всхлипнула и платочек достала, прижала к щеке.

– Думаете?

– Почти уверена! – Платочек переместился к другой щеке. – Сколько на своем веку я видела несчастных женщин, что оказались во власти жадной родни... волею судьбы вы стали его заложницей...

Она говорила так искренне, что Евдокии поневоле стало жаль себя.

Волею судьбы...

И вправду, заложницей, потому как без Себастьяна ей пути нет. Серые земли – не то место, где Евдокии будут рады. Стиснув кулаки крепко, так, что ногти впились в кожу, а боль отрезвила, Евдокия произнесла, глядя в мутные колдовкины очи:

– Вы же слышали, он потратил мое приданое...

– Ах, деточка, – Агафья Прокофьевна платочек убрала, но поморщилась, поскольку на белом батисте появилась уже характерная серовато-черная рябь, – и вы поверили? Душечка моя, он лгал, и лгал неумело... он забрал ваши деньги, полагая, будто бы вам и без них ладно...

Она вздохнула и погладила Евдокиину руку, утешая.

– Такое случается, но деньги не важны... в Приграничье обретаются люди небедные. Вот, поддержите, – Агафья Прокофьевна сунула зонт, – одну минуточку... вот...

Из кожаной сумки ее, сколь успела заметить Евдокия, отнюдь не дешевой, появился пухлый альбом.

– Смотрите... это пан Мушинский... он туточки факторию держит, приторговывает помаленьку. Состоятельный господин и одинокий.

Пан Мушинский был носат, усат и в то же время лыс.

– А вот пан Гуржевский, он золотодобычей занимается, месяц как овдовел. А на руках – двое детишек. Слезно просил подыскать в супруги девушку приличную...

Следовало признать, что женихов в альбоме имелось множество, один другого краше, и о каждом панна Зюзинская рассказывала со знанием, со страстью даже.

– Видите, – панна Зюзинская захлопнула альбомчик, – столько одиноких людей, чье счастье вы могли бы составить.

Альбомчик исчез в сумке.

– Но у вас есть уже...

– Ах, бросьте. – Агафья Прокофьевна отмахнулась. – То обыкновенные девки мужицкого свойства, а в вас, Дусенька, сразу же порода чувствуется. Ваша гордая стать...

За породу стало совестно.

А с другой стороны, Евдокия себя к шляхтичам не приписывала, так что за обман онный ответственности не несет, пускай Себастьяну стыдно будет. Впрочем, она тут же усомнилась, что дорогой родственник в принципе способен испытывать этакое дивное чувство.

– Ваша походка, манеры, то, как вы себя держите... – Агафья Прокофьевна обходила Евдокию полукругом, и головой качала, и языком цокала, аккуратно как цыган, пытающийся коняшку сбить.

И Евдокия чувствовала себя сразу и цыганом, и коняшкой, которую по торговой надобности перековали да перекрасили, и наивным покупателем, неспособным разглядеть за красивыми словами лжи.

– Вы сможете выбрать любого! Вся граница будет у ваших ног!

– Не надо. – Евдокия подняла юбки, убеждаясь, что под ними нет пока границы, но только былье да куски угля, который туточки валялся повсюду.

– Почему?

– Не поместится.

Агафья Прокофьевна засмеялась.

– Видите, вы и шутить способные... нет, Дусенька, помяните мои слова, у вас отбою от женихов не будет... вот только...

– Что?

– Ваш кузен не захочет вас отпустить.

– С чего вы решили?

– С того, что привык держать вас прислугою. Небось сам-то ни на что не способный, окромя как книги читать. Дело, конечно, хорошее, да только книга поесть не сготовит, одежду не стирает, не заштопает. Нет, Дусенька, помяните мое слово! Как прибудем, он сто одну причину сыщет, чтобы нам помешать.

– И как быть?

– Обыкновенно, Дуся... обыкновенно... бежать вам надобно.

– Сейчас?! – Бежать Дуся не собиралась в принципе, но подозревала, что отказа ее новая знакомая не примет.

– Нет, как прибудем. Вы скажете, что надобно отлучиться... ненадолго... по естественным причинам. А уж в туалетной-то комнате при вокзале я вас и подожду... отвезу к себе...
...и неужели находились такие, которые верили ей?

Сахарной женщине, которая, и припорошенная угольной пылью, не утратила и толики своей сладости? Она ведь не в первый раз говорит сию речь проникновенную, и оттого, верно, устала уже, утратила интерес. Слова льются рекою, гладенько, хорошо, а в глазах – пустота.

Безынтересна Евдокия панне Зузинской.

Как человек безынтересна.

Но нужна.

Зачем?

– Я... я подумаю. – Евдокия потупилась.

– Думайте, – разрешили ей. – Только уж не тяните...

Себастьян смотрел в окно, серое, затянутое не столько дождем, сколько пылью, оно отчасти утратило прозрачность, и видны были лишь силуэты.

– А шо вы делаете? – раздалось вдруг над самым ухом.

И Себастьян от окна отпрянул и тут же устыдился этого детского глупого страха быть пойманным за делом неподобающим.

– А шо, я вас спужала?

Давешняя невеста, к счастью, если верить панне Зузинской, просватанная, а потому потенциально неопасная, стояла в проходе. И не просто стояла, а с гонором, ножку отставивши, юбку приподнявши так, что видны были и красные сафьяновые ботиночки, и чулочек, тоже красный, прельстительный.

– Доброго дня. – Пан Сигизмундус отвел глаза, ибо был личностью исключительной целомудренности, ибо с юных лет предпочитал книги дамскому обществу. Оное, впрочем, за то на пана Сигизмундуса обиды не держало.

– А таки и вам... – Девица хохотнула. – Семак хотите?

– Нет, благодарю вас...

– Таки шо, совсем не хотите? – Семечки она лузгала крупные, полосатые, отчего-то напомнившие Себастьяну толстых колорадских жуков.

И от этого сходства его аж передернуло.

– Хорошие. – Девица сплюнула скорлупку на пол. – Мамка с собою дала. Сказала, на, Няся, хоть семак с родного-то дому...

Голос девицы сорвался на трубный вой, и Себастьян вновь подпрыгнул.

Или не он, но пан Сигизмундус, женщин втайне опасавшийся, полагавший их не только скудоумными, но и на редкость упертыми в своем скудоумии. А сие сочетание было опасно.

– А шо вы все молчитя? – Девике надоело лузгать семки, и остаток она ссыпала в кожаный мешочек, висевший на поясе. – Вы такой ву-умный...

Это она произнесла с придыханием и ресницами хлопнула.

Пан Сигизмундус вновь зарделся, на сей раз от похвалы. Хвалили его редко.

– Я ученый.

– Да?! – Девика сделала шажок.

В нос шибануло крепким девичьим духом, щедро приправленным аптекарскою водой, кажется, с запахом ночной фиалки.

– А шо вы учите?

– Ну...

– А то у нас в селе учительша была... все твердила: читай, Нюся, книги, вумною станешь... ха, сама-то в девках до энтотй поры... вот до чего книги доводят!

Себастьян попятился, но девица твердо вознамерилась не дожидаться милостей от судьбы. Оно и понятно: где там обещанный свахой жених? До него сутки пути на поезде, а опосля еще и бричкой.

И как знать, дождется ли он?

Небось, пока сговаривались, пока судились-рядились, тятка думал, мамку уговаривал – больно не хотелось ей Нюсю от себя отпускать... вдруг да и нашелся кто поближе? А если и не нашелся, то мало ли каким окажется? Сваха-то сказывала красиво и карточку дала с носатым мужиком, да только у ей работа такая – сватать. Небось как тятка корову на ярмарке продавал, то тоже врал, будто бы сливками чистыми доится, а норову кроткого, аки горлица... нет, не то чтобы Нюся свахе и вовсе не верила, но вот...

Вдруг жених энтот косой?

Кривой?

Аль вообще по женской части слабый, а Нюсе деток охота народить и вообще честного бабского счастья кусок. Оное же, счастье, было тут, на расстоянии вытянутой руки. Тощенькое, правда, да только оно и понятно, что исключительно от одиночества. Небось холостые мужики завсегда что волки по весне, с ребрами выпертыми, с глазами голодными, а оженится да и пообрастет жирком на честных семейных харчах. И опять же видать, что не местный, так Нюся его с собою возьмет. У тятки хозяйство великое, с радостью примет помощничка, а маменька и вовсе, как поймет, что Нюська домой возвратилась, от радости до соплей изрыдается.

И от этой благодатной картины на сердце становилось легко.

– Упырей учу... – пролепетал Сигизмундус, который в светлых девичьих глазах прочел приговор. – То есть... не упырей учу... изучаю... работу пишу... по упырям...

Нюся поморщилась: все ж таки городские людишки, с которыми до сего дня ей случалось сталкиваться лишь на ярмарке, были странны.

Это ж надо придумать: учить упырей!

С упырем в селе разговор один – колом да в грудину. И чесноку в рот, чтоб лежал смирнехонько и на людей честных не зарился. А тут... какой вот толк от ученого упыря? И чегой про них писать-то?

Нюся даже засумлевалась, надобен ли ей этакий жених, но опосля представила, как в недельку-то идти до храму да с супружником под ручку. И сама-то важная, по случаю этакому принарядившаяся. Небось маменька на радостях не пожалеет тулупу с парчовым подбоем, какого ей тятка в позатом годе справил. А под тулупом – платье по городской моде, чтоб пышное, богатое, и бусы на шее, красные, в три ряда. Но главное – супружник. Ему тоже надобно будет одежонки какой приличной приобрести, скажем, портки полосатые, как у старосты, и пиджак с карманами да пуговицами медными. Жилетку опять же ж, потому как без жилетки красота неполная будет...

И вот все на Нюсю глядят, шепчутся, дивятся тому, как она, перестарок, сумела этакого мужика найти. Хотя, конечно, в примачи, да зато ученый... про упырей небось знает больше, чем тятка про своих коров...

– А шо... – Нюся подобралась еще ближе, и в глазах ее появилось хорошо знакомое Себастьяну выражение. Этак кошки дворовые глядели на воробьев, прикидывая, как бы половчей ухватить... воробьем себя Себастьян и ощутил.

И сглотнул, приказывая Сигизмундусу не паниковать.

Чай, храмы далече и жрецов поблизости не наблюдается, и, значит, честь Сигизмундусова пока в относительной безопасности.

– А шо, – повторила Нюся, томно вздохнувши. Вспомнились маменькины наставления, что, дескать, мужик страсть до чего поговорить охочий, а как говорит, то и глохнет, будто бы глухарь токующий... главное, вопросу верного задать. И Нюся нахмурилась, пытаясь понять, каковой из всех вопросов, что вертелись на ее языке, тот самый, правильный, поспособствующий воплощению простой девичьей ее мечты. – А шо... упырь в нонешнем году жирный?

Маменька, правда, не про упырей тятку пыталась, но про свиней, так то и понятно. Тятка за своими-то свиньями редкой агличкой породы душою болеет, волю дай, так и жил бы в сви-нарнике... упыри, вона, не хуже. У них же ж тоже привес важный.

Сигизмундус от этакое неожиданного вопроса слегка оторопел.

Сглотнул.

И всерьез задумался над глобальной научной проблемой: имеет ли жирность упыря значение для науки, а если имеет, то какое.

– В прошлом-то годе, помнится, поймали одного, так тощий, смердючий, глянуть не на что. – Нюся приспустила маменькин цветастый платок, который накинула на плечи для красоты.

Платок был даден для знакомства с будущим женихом, а следовательно, использовался по прямому назначению. Ярко-красный, в черные и желтые георгины, он был страсть до чего хорош, и Нюся в нем ощущала себя ни много ни мало королевною.

– Всем селом палили... ох и верещал-то...

– Дикость какая, – пробормотал Сигизмундус, в глубине души считавший себя гуманистом.

Палить... живое разумное существо... хотя, конечно, существовали разные мнения насчет того, следует ли считать упырей разумными. Находились и те, кто полагал, будто бы все так называемые проявления интеллектуальной деятельности, которые упырям приписывают, есть всего лишь остаточные свойства разума...

Себастьян мысленно застонал.

Какие упыри, когда вот-вот оженят? И сие напоминание несколько охладило Сигизмундусов пыл.

– Так а шо? – Нюся подобралась настолько близко, что протянула руку и пощупала край Сигизмундусового пиджачка. – У нас народ-то простой, вот ежели б вы были, то вы б упыря научили...

Она задумалась, пытаясь представить, чему эту косматую нелюдь, которая то выла, то скулила по-собачьи, да только от того скулежа цепные кобели на брюхо падали да заходились в тряске, научить можно.

– ...дом стеречь, – завершила Нюся.

И представила, как бы хорошо было, ежели б на цепи и вправду не Лохмач сидел, который старый ужо, глухой и лает попусту, но взаправдашний упырь...

– Или еще чему... А пиджачок вы где брали?

– На рынке. – Себастьян сумел заставить Сигизмундуса сделать шаг к свободе, сиречь к проходу.

– В Брекеleve? – поинтересовалась Нюся, назвавши самое дальнее место, из ей ведомых. В Брекелев тятка за поросями аглицкими ездил. На подводе. Оттудова петушков сахарных привез красного колеру и рукавицы из тонкой шерсти.

– В Познаньске...

Нюся подалась вперед, тесня Сигизмундуса к стеночке – чуяло сердце девичье, трепетное, что уходит кавалер.

– В Познаньске... – Она вздохнула тяжело, как корова при отеле. – Вот, значит, чего в столицах носят...

– И-извините. – Сигизмундус изо всех сил старался не глядеть ни на лицо девицы, ни на выдающуюся ее грудь, которая прижимала его к стене поезда. – Мне... мне надобно... выйти надобно... по нужде...

Сигизмундус разом покраснел, потому как воспитанный человек в жизни не скажет даме о подобном, но иной сколь бы то ни было веский предлог в голову не шел.

Впрочем, дама не обиделась.

– До ветру, что ль? – с пониманием произнесла она.

И отступила.

Проводив будущего супруга – а в этом Нюся почти не сомневалась – взглядом, она обратила внимание уже на вещи, каковые полагала почти своими. Конечно, путешествовал дорогой ее Сигизмундус – имечко Нюся у свахи вытянула, хотя та и норовила замолчать, да только зазря, что ль, Нюся характером в мамку пошла? – так вот, путешествовал Сигизмундус не один, но со сродственницей, каковая Нюсе не по нраву пришлась. Сразу видно – гонорливая без меры. И что толку от этакого гонору, ежели до сей поры в девках ходит?

Нюся присела на лавочку будто бы невзначай.

Нет, от этакой сродственницы избавляться надобно, да только как?

А просто... замуж ее выдать, за того самого жениха, которого для Нюси сготовили. От и ладно получится! Все довольные будут...

С этой мыслью, в целом довольно здравой, Нюся принялась осматривать вещички. Книги, книги и снова книги... куда их девать-то опосля свадьбы? Небось в избе тяткиной и без них тесно... разве что на чердак, но там чеснок мамка сушит, лук...

Или сразу на растопку определить?

Бумага-то с легкого загорается...

Сигизмундус, не ведая, на счастье свое, что судьба его и бесценных книг, купленных Себастьяном на познаньском книжном развале достоверности ради, уже решена, выбрался на перрон. Он глотнул воздуха, который после спертого духу вагона и Нюсиных телесных ароматов показался на редкость свежим, сладким даже.

Потянулся.

Поднял руки над головою, покачался, потворствуя Сигизмундусовым желаниям, а также рекомендациям некоего медикуса Пильти, утверждавшего, будто бы нехитрое сие упражнение, вкупе с иными упражнениями древней цианьской гимнастики, способствует прилитию крови к мозгу и зело повышает умственные способности.

– Что вы делаете? – осведомилась панна Зузинская, появившаяся будто бы из ниоткуда.

– Зарядку. – Сигизмундус поднял левую ногу и застыл, сделавшись похожим на огромного журавля. Руки он вытянул в стороны, а голову запрокинул, стремясь добиться максимального сходства с картинкой в брошюре.

– Как интересно. – Панна Зузинская почти не лукавила.

Выглядел ее клиент, который, правда, и не догадывался о том, что являлся клиентом, преудивительно. С другой стороны, не настолько удивительно, чтобы вовсе забыть о деле, которое и привело ее сюда.

– У меня к вам выгодное предложение, – сказала она и отступила на всяк случай, поскольку Сигизмундус руками взмахнул.

Он вовсе не имел намерения причинить панне Зузинской ущерб, но лишь попытался повторить движение, каковое в брошюре именовалось скромно – «дрожание вишневой ветви, растущей над обрывом скалы».

– К-какое?

Сигизмундус с трудом, но удержал равновесие, а ветви его рук, как и описывалось в брошюре, сделались легкими, почти невесомыми. Правда, остальное тело еще требовало приведения его в состояние высшей гармонии, после достижения которого медикус обещал чудесное исцеление ото всех болезней, а также открытие третьего глаза и высшей истины.

До гармонии, скажем так, было далеко.

– Двадцать пять злотней, – сказала панна Зузинская, отступив еще на шаг, поскольку гармонии Сигизмундус добивался очень уж активно.

Он раскачивался, то приседая, то вдруг вскакивая со сдавленным звуком, будто бы из него весь воздух разом вышибали. Панне Зузинской были неведомы азы дыхательной гимнастики, а оттого все происходившее на перроне было для нее странно, если не сказать, безумно.

– Я дам вам двадцать пять злотней за вашу кухню. – Она выставила меж собой и Сигизмундусом сумочку. – Подумайте сами... вы, я вижу, человек свободный, не привыкший к обязательству подобного толку... вы живете мечтой...

Пан Сигизмундус присел и резко развел руки в стороны. Сия поза называлась менее романтично: «жаба выбирается из-под илистой колоды». От усилий, страсти, с которой он выполнял упражнения, очки съехали на кончик носа, а шарф и вовсе размотался.

– Вы собираетесь в экспедицию, но с нею... с нею вы далеко не уйдете.

– Зачем вам моя кухня?

Панна Зузинская огляделась и, убедившись, что на перроне пусто, призналась:

– Замуж выдать.

– За кого?

– За кого-нибудь. У меня много клиентов, готовых заплатить за хорошую жену. Поверьте, я сумею ее пристроить...

Сигизмундус нахмурился. Был он, конечно, наивен и доверчив чрезмерно, однако не настолько, чтобы сразу отдать дорогую кухню, которую втайне полагал обузой, первой встречной свахе.

– Нет-нет, – Агафья Прокофьевна, догадавшись о сомнениях, поспешно замахала руками, – не подумайте дурного! Я лишь желаю помочь и вам, и себе. На границе множество холостых мужчин, а вот женщин, напротив, мало... а ваша кухня хороша собой, образованна... редкий случай. Потому и даю вам за нее двадцать пять злотней.

– И что мне нужно будет сделать?

Для пана Сигизмундуса, вечно пребывавшего в затруднительных обстоятельствах, сумма сия была немалой, если не сказать – вовсе огромной.

– Ничего, совершенно ничего! – Панна Зузинская, уверившись, что клиент не собирается более ни скакать, ни размахивать своими ручищами, осмелилась подступить ближе. – Как приедем, я вашу кухню к себе возьму. Обставим все так, будто бы она сама сбегла, с девками такое случается. А раз так, то какой с вас спрос? Вы, главное, искать-то ее не дюже усердствуйте... а лучше и вовсе... я вам записочку дам к человеку, который на Серые земли ходит. Он-то вас с собою возьмет, ищите свою вяжлю...

– Выжлю, – поправил Сигизмундус, которому страсть до чего хотелось и деньги получить, и от кухни избавиться.

– Вот-вот, ее самую...

– Я... – Он поправил шарф. – Я подумаю над вашим предложением.

– Думайте, – согласилась панна Зузинская. – Но учтите, что свободных девок в том же Познаньске множество...

– Так то в Познаньске. – Себастьян не удержался.

Жалел он лишь об одном, что ныне не имеет доступа к полицейским архивам, а потому не способен точно сказать, не случилось ли в последние годы эпидемии беглых девиц...

Таких, которых не стали искать.

Глава 4

О волкодлаках, утренних променадах и случайных встречах

*Если ты все сделал правильно, это еще не значит, что у тебя все
будет хорошо.*

Из наблюдений закоренелого пессимиста

Гавриил проснулся засветло.

В холодном поту.

Задыхаясь.

Он скатился с кровати и привычно под кровать же спрятался, там и лежал, прижимаясь к холодным доскам, пока не унялось беспокойное сердце. А оно не унималось долго. Вздрагивало хвостом заячьим от каждого звука, от теней шевеленья.

Мнилось – вновь идут по следу.

И видел почти что искаженные, поплывшие лица, которые уже и не лица, но морды звериные... и вздыбленную шерсть, и уши куцые, к головам прижатые. Слышал глухое рычание. Повизгивание.

Это всего-навсего шпицы панны Гуровой. Она за стенкою обретается, до полуночи ходила, что-то бормоча под нос. А что именно, Гавриил так и не понял, хотя слушал через вазу. Но все ж стены в доме были не такими тонкими, как ему хотелось.

И псиною пахнет оттуда же... да и вовсе, чего бояться?

Нечего.

Гавриил это знал, но ничего не умел с собою поделать. И лежал, глядел на порог, ожидая, когда заскрипят половицы под тяжелой ногою, а вот дверь наверняка откроется беззвучно. Они всегда умели договариваться с дверями.

Шаги он слышал издалека.

Тяжкие.

Осторожные, будто бы тот, кто шел по коридору, не до конца решил, красться ему аль все ж ступать свободно, как человеку, которому нет надобности таиться.

Гавриил прижался к полу и нащупал нож. Прикосновение к теплой рукояти, которую он самолично выточил из оленьего рога, принесло некоторое облегчение. И способность дышать вернулась.

Шаги замерли.

Рядом?

Близко, совсем близко... но не у Гаврииловой двери... Выбирает? Но на улице светло... или тварь настолько стара, что способна менять обличье по собственному почину? Сердце екнуло – справится ли? Справится. Как иначе...

Вновь застонали половицы... и ручка двери качнулась. Вниз. И вверх... раздался осторожный стук... вежливая какая тварь...

Гавриил подвинул нож к себе.

И дверь отворилась. Конечно, беззвучно.

Сначала он увидел тень, огромную черную тень, что перевалила через высокий порожок, разлилась, расплзлась, сделавшись подобной кляксе. Тень добралась до самой кровати, и лишь тогда Гавриил увидел того, кто сию тень с собою привел.

Тапочки.

Матерчатые тапочки в клетку, изрядно растоптанные, заношенные, не единожды чиненные. Некогда они, несомненно, были хороши, ныне же выглядели жалко. Над тапочками виднелись ноги в старых штанах из парусины... чуть выше – пуховый платок, повязанный вокруг бедер.

Пан Вильчевский спиной маялся уж не первый год, с той самой зимы, когда самолично волок на второй этаж купленную комоду. А что, грузчики-то запросили целых десять медней, невиданная наглость. Тогда-то комод, почти новенькая, почти целая – треснувшая ножка да потемневший лак не в счет, – казалась ему легкой...

Спина не согласилась.

Прихватило так, что медикуса звать пришлось. И платить... и потом еще в лавке аптекарской за снадобья... дикие у них цены. С той поры пан Вильчевский мебель самолично не двигал, а спину пользовал барсучьим аль медвежьим жиром, с бобровой струею мешанным. Снадобье выходило на редкость вонючим, но зато спину грело. А ежели поверху платок повязать из собачьей шерсти, то и вовсе ладно выходило.

Ночью пану Вильчевскому не спалось.

Стоило прикрыть глаза, как вставал перед внутренним взором злополучный окорок во всей красе. Виделась и шкурка подкопченная, тоненькая, каковая сама на языке таяла, и салыце белое, мясо темное, сахарная косточка... ее-то пан Вильчевский на щип определял, знатные получились бы...

В общем, к утру он так извелся, что действовать решил немедленно.

Одевшись наспех – и платок снимать не стал, ибо спина от беспокойства внутреннего вновь разнылась, – он вышел в коридор. На цыпочках прошелся, останавливаясь у каждой двери, принохиваясь, прислушиваясь, пытаясь понять, что за оною дверью...

Пан Зусек лаялся с супругой... он говорил что-то тонким визгливым голосом, а вот отвечали ли ему, пан Вильчевский так и не понял. Пахло из номера женскими духами.

Панна Акулина тоже не спала, хотя ж в прежние-то времена оставалась в постелях до полудня, утверждая, что будто бы за долгие годы привыкла к этакой жизни.

У панны Гуровой возились шпицы, скулили, тявкали. И значит, пропустила она утрешнюю прогулку, чего за нею не случалось в последние лет пять, а то и десять.

За дверью нового постояльца, коего пан Вильчевский постановил для себя первым подозреваемым – все ж до него не случалось в пансионе столь наглых преступлений, – было тихо. И тишина эта сама по себе казалась преподозрительной. Помаявшись несколько мгновений – они показались пану Вильчевскому вечностью, – он решился.

Постучал.

Ежели вдруг, то извинится за беспокойствие, но... окорок, бедный окорок, чье место было не где-нибудь, а исключительно в кладовой пана Вильчевского, взывал о справедливости. Или о возмездии, сиречь компенсации.

И пан Вильчевский открыл дверь.

Сперва ему показалось, что комната пуста. Он с неудовольствием отметил измятую постель, которую наверняка потребуют сменить. И сменить придется.

Стирать.

Тратиться на порошок, на прачку... белье, опять же, от частых стирок становится ветхим, а новое покупать – этак и разориться недолго.

Отметил и ботинки модные, что лежали на ковре... и костюм, брошенный небрежно. А уж после и хозяина одного костюма, который за чем-то под кровать забрался.

– Доброго утречка вам, – расплылся пан Вильчевский в улыбке.

– Доброго, – настороженно ответил жилец, не спеша, впрочем, из-под кровати выбраться.

И хорошо, что не в халате забрался. Халаты пан Вильчевский приобрел в прошлом годе, когда панна Гурова заявила, что в приличных гостиницах постояльцам выдают не только мыло...

– А что вы там делаете? – Пан Вильчевский не без труда наклонился, желая получше разглядеть постояльца, а заодно уж проверить, чего это он под кроватью прячет.

Нет, окошком в комнате не пахло, но... мало ли?

– Лежу. – Гавриил чувствовал себя... неудобно.

И причиной того неудобства был вовсе не жесткий пол и не теснота – ныне ему представлялось удивительным то, как он, Гавриил, сумел да под кровать залезть.

– А почему вы там лежите? – Пан Вильчевский наклонился еще ниже.

Окорока не было, с сим фактом он почти смирился, но вот... вдруг да постоялец этот престранный забрался под кровать, чтобы там, в месте тайном, ущерб имуществу учинить?

И ножик с собой прихватил.

Небось собирался вырезать срамное слово на паркете. Мысль эта привела пана Вильчевского в состояние, близкое к обмороку.

– А... почему нет? – Нож Гавриил поспешно спрятал в рукав, кляня себя за то, что не сделал этого раньше, когда только понял, что в номер его вошел вовсе не волкодлак. – Разве в правилах пансиона есть пункт, который запрещает мне лежать под кроватью?

– Н-нет, – вынужден был сознаться пан Вильчевский. И прям похолодел весь от обиды. – Но будет! Непременно будет...

Он разогнулся, пожалуй, чересчур поспешно, поелику давний прострел ожил, вновь сгибая.

– Что с вами? – Гавриил решил, что все же убежище следует покинуть.

– Н-ничего...

Спину прихватило изрядно, и пан Вильчевский с тоской подумал, что, похоже, и на сей раз без медикуса ему не справиться. А значит, новые траты.

– Ничего страшного. – Он упер ладонь в поясницу и все ж попытался разогнуться. – Спина... б-болит...

Шел к двери пан Вильчевский неторопливой походкой, то и дело останавливаясь, чтобы дух перевести и бросить косой взгляд на того, кого втайне полагал истинным виновником всех своих бед.

Гавриил следил.

А стоило двери закрыться, как одним змеиным движением выбрался из-под кровати. Носом повел, отмечая кисловатый запах жира...

За ночные страхи было стыдно, даже подумалось, что этот престранный человечек, заглянувший поутру по неведомой надобности, догадался и о страхах, и об истинной причине, по которой Гавриил оказался в сем пансионе. Но мысль эту Гавриил отмел.

Не догадался.

Вряд ли он, тщедушный, немощный даже, вовсе представляет, что в доме своем дал приют волкодлаку, иначе не был бы столь спокоен.

И все ж, для чего приходил?

Этот вопрос мучил Гавриила за завтраком – подали пшенку на молоке, а к ней слабенький кофий, тем же молоком забеленный. И после завтрака, когда он вышел на променаду, не оставил.

Одевался Гавриил тщательно, чтобы, если вдруг случится нечаянная встреча с кем из постояльцев – он втайне на эту встречу очень рассчитывал, – вид у него был бы соответствующий сочиненной им гиштории.

Брюки-дудочки в узкую полоску, сами скроенные тесно, в этиках и не присядешь из опаски, как бы не треснули по шву, позор учиняя. Пиджак-визитка яркого белого колеру.

Бутоньерка тряпичная, красная. Галстук шнурочком. И венцом красоты – шляпа соломенная, с высокою тульей и полями, загнутыми на лихую манеру.

По утреннему времени в парке было малоллюдно.

Бродил по дорожке седой господин в легоньком плащике. Устроилась на лавочке пара девиц в серых простых платьях. Присела у куста черемухи пожилая женщина в черном платье, не то вдова, не то экономка...

Впрочем, все эти люди мало занимали Гавриила, как и аккуратные, мощенные речным камнем дорожки парка. Путь его лежал в темные парковые глубины, под сень старых деревьев, каковые, верно, помнили не одного короля. И, свернувши на едва заметную тропу, Гавриил переменился. Походка его сделалась легкой, бесшумной, движения – мягкими, и даже тяжелая трость, несколько вышедшая из моды, однако же в нынешних обстоятельствах совершенно необходимая, гляделась естественно.

Гавриил то и дело останавливался, вдыхал тяжелый, пронизанный сотнями самых разнообразных ароматов воздух. И шел дальше.

Уверенно.

Пусть бы место нынешнее днем выглядело совершенно иначе, и не было в нем ничего-то зловещего.

Кусты шиповника.

Азалия.

Фрезии цветущие, пушистые головки ранних астр, будто разноцветные звезды в траве... сама трава шелковая, яркая. Так и тянет присесть, пусть бы сия вольность и не принята в столицах.

Гавриил сдерживался.

Во-первых, и вправду не принята, и на брюках останутся пятна, а они, пусть и неудобственные, но все ж стоили дорого. Во-вторых, у него имелась истинная цель.

Он остановился на развилке.

Убрали... нет, престранно было бы ожидать, что тело оставят в парке или же не тело, но иные какие свидетельства недавней трагедии, о которой газеты писали много, охотно и с явным удовольствием. Но вот все же... непривычно.

Гавриил втянул воздух.

Ничего. Запахи приличные, самые что ни на есть парковые – травы, цветов и прочего благолепия.

Придет ли?

Придет. Даже если и не помнит, что сотворил, но человечью его натуру будет тянуть к этому месту с чудовищною силой. И значит, явится... вот только когда? Сегодня? Завтра? Еще в какой день? И не выйдет ли так, что волкодлак появится именно тогда, когда Гавриил по какой надобности отлучится? Он ведь не может в парке жить-то... или может?

Гавриил задумался. В принципе существование на природе его нисколько не пугало. Ночи ныне теплые, а прочие неудобства и вовсе пустяк-с, да только крепко он подозревал, что познаньская полиция, растревоженная что убийствами, что газетчиками – последними даже больше, нежели убийствами, – отнесется к этакому престранному поведению без должного пиетета.

Еще запрут суток этак на пятнадцать.

Аль в лечебницу для душевнобольных спровадят. В лечебницу Гавриилу никак нельзя. Он поежился от нехороших воспоминаний. Оно, конечно, наставник полагал, что так лучше будет для души мятущейся, для разума, кошмарами обуянного, да только... нет, не любил Гавриил вспоминать те полгода.

Он перехватил трость, которая была тяжела не только оттого, что сделана из железного дуба и вполне годна к использованию заместо дубинки. Огляделся... и отступил.

Зеленая стена чубушника закачалась, затряслись белые гроздья цветов, и аромат их, и без того назойливый, сделался вовсе невыносимым. В кустах затрещало, после раздался тоненький визг, и из самой чащобы выкатился мохнатый ком, который распался на несколько спицев и матерого крысюка.

Спицы рычали.

Крысук, каковой был огромен, размером с добрую кошку, скалился и скакал. Шкура его, испещренная многими шрамами, была красна от крови. Шерсть стояла дыбом.

– Мики! Мики назад!

Голос панны Гуровой заставил псов на мгновение отпрянуть, и этого мгновения крысуюку хватило, чтобы выбраться из круга. Гавриил и опомниться не успел, как тварь вскарабкалась по штанине, ловко перебралась на пиджак и вот уже сидела на плече.

От крысюка разило помойкой и свежей кровью. Да и без того запаха, несколько портившего парковую пастораль, соседство было не самым желанным.

– Брысь, – сказал Гавриил.

И крысук ответил шипением, в котором, однако, послышался упрек: как может человек разумный, даже более того, понимающий, гнать несчастную тварь, коия очутилась в обстоятельствах презатруднительных? Спицы, видя, что события приняли несколько неожиданный оборот, вначале растерялись. Нападать на людей, пусть бы и весьма лично им неприятных, хозяйка строго-настрого запретила. Но крысук... он наглым образом устроился близко, так, что псы и обоняли его, свою законную добычу, и видели, а дотянуться не могли.

– Брысь, – повторил Гавриил уже спицам, что подобрался к самым его ботинкам и глухо рычали, готовые вцепиться и в ботинки, и в тощие лодыжки этого странного человека, от которого пахло не только человеком.

Слова его не возымели ни малейшего эффекта, и Гавриил, чувствуя, что вот-вот будет атакован, перехватил тросточку поудобней. Его немного мучила совесть, потому как нехорошо это – убивать чужих собак, однако и становиться добычей он не желал.

Крысук вздохнул. И длинные его усы пощекотали Гавриилу шею.

– Мики, назад! Мальчики, фу! – Панна Гурова выбралась из кустов и кое-как отряхнула шерстяной, не по погоде, жакет. – О, Гавриил... прошу великодушнейше меня простить... эти сорванцы совершенно теряют голову при виде добычи...

Спицы рычали, но уже не грозно, скорее порядка ради.

– Назад, – жестче повторила панна Гурова, и псы отступили. – Я прежде волкодавов держала... да только с волкодавами в гостиницу невозможно, приходится вот...

Она подняла спица, погладила.

– Но у этих малюток есть характер...

– А что вы... – Гавриил прикинул, что шла панна Гурова аккурат с той стороны, где совершилось убийство.

– Гуляю... выгуливаю... им нужен простор, возможность реализовать себя. Вот и приходится искать места поспокойней... – Она гладила спица, который не спускал с Гавриила стеклянных глаз. И мерещился в них разум, если не человеческий, то весьма к оному близкий. – Но мы, пожалуй, пойдем... не хотелось бы пропускать обед... к слову, вам не кажется, что наш хозяин ведет себя несколько странно?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.